

По ту сторону репрессивной гипотезы: власть над сексуальностью в теории Мишеля Фуко

(Часть 1: Рождение инстинкта)

Голобородько Д.Б., Институт философии РАН
denis.goloboro@gmail.com

Аннотация: В русле генеалогического подхода Мишеля Фуко в статье исследуется появление и эволюция проблематики сексуальности, характерной для современного общества. Рождение современной сексуальности рассматривается через призму исторической и концептуальной эволюции подхода к понятию «безумия» в XIX-ом веке: от представления безумия как «болезни» к его представлению как «опасности», и следовательно – от «альенистской» (*alienus*, чужой) концепции к концепции «секуритарной» (*sécurité*, безопасность). Основная гипотеза статьи состоит в идее, что история сексуальности начинается там, где заканчивается история безумия. В первой части статьи, основываясь на курсе лекций Фуко в Коллеж де Франс под названием «Аномальные», анализируется понятийный переход от человеческого «монстра» (крайняя фигура исключения в концепции Фуко) и идеи монструозности отклонения к понятию «анормального» (который заменяет «монстра» в процессах трансформации власти). Переход рассматривается на примере эволюции медико-судебной экспертизы и уголовной психиатрии. В этом аспекте рассматривается знаменитое «дело Генриетты Корнье» («безосновательное преступление», или «преступление без разума») и рождения понятия «инстинкта».

Ключевые слова: власть, безумие, альенизм, сексуальность, монстр, аномальность, разум, психиатрия, медико-судебная экспертиза

Введение.

В раннем исследовании Мишеля Фуко — «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху» (1961) — историко-политическая эволюция восприятия безумия заканчивается установлением в конце XVIII-го века «безумия» в качестве «душевной болезни», исключительно медицинского понимания его как болезни, как своего рода «естественного» отклонения в «природе». В подобном медико-клиническом представлении оказывалась полностью забыта первичная связь безумия с Неразумием (как «социальным» аспектом безумия), а именно – с тем моментом истории, когда безумному вменялась *ответственность* за его собственное «отклонение», от которого он должен был, так сказать, «очиститься», подвергаясь заточению (*renferment*).

Несколько упрощая, можно сказать, что конечную точку в истории безумия ставит концепция альенизма, в которой безумие становится предметом лечения: безумный более не исключается, но он и не является своим собственным субъектом: его безумие ему более не принадлежит. Он чужд самому себе, «отчужден» (*alienus*, «чужой»): его когнитивные функции перекрыты функциями «аффективными», и это то,

что лишает его возможности быть самим собой (также, как о перенесшем сильное эмоциональное переживание, мы говорим, что он «сам не свой»). Лишенный самого себя, безумный становится, таким образом, медицинским объектом. Именно в эпоху альенизма получают развитие исследования в области церебральной анатомии, направленные на поиск объяснения «душевных болезней».

Позднее, уже в XIX-ом веке, представление «безумия» как «душевной болезни» замещается представлением его как «опасности», концепция альенизма сменяется концепцией «секуритарной» (*sécurité*, безопасность).

Но там, где заканчивается история безумия, начитается другая история. И мы попытаемся показать, что именно там начинается история сексуальности¹.

Чтобы прояснить этот тезис мы обратимся вначале к знаменитому курсу Фуко «Аномальные»², в котором сдвиги понимания безумия в XIX веке представлены в интересе эволюции судебно-медицинской экспертизы, а затем перейдем к анализу «Воли к знанию».

Особый интерес в рамках нашего анализа представляет сюжет, к которому Фуко обращается в своих «Лекциях», где он показывает как в судебной психиатрии и практике наказания происходит переход от персонажа «монстр» к персонажу «анормальный», в котором в определенном смысле находит отражение процесс трансформации власти.

Здесь не лишне будет напомнить, что «монстр» представляет в фукианской теории крайнюю фигуру исключения. В лекции от 29 января 1975 года, Фуко показывает, в какой степени прежде всего именно этнология способствовала выявлению двух монструозных фигур: кровосмесителя и антропофага. Так, проблема тотемизма в антропологии выводит на проблему инцеста и его запрета, которые связаны с невозможностью выбрать супруга или супругу внутри своего племени, помеченного свойственным ему тотемом. Подобным же образом инцест оказывается центральным концептом фрейдовского психоанализа, в рамках концепции комплекса Эдипа, фиксирующем бессознательное влечение ребенка к инцесту. Фуко в этой лекции идет еще дальше, замечая, что в особой обстановке, порожденной Французской революцией, в период торжества буржуазной мысли, появляются две фигуры монстров, имеющих отношение к инцесту и антропофагии. С одной стороны – это деспот, — тот, кто злоупотребляет своим положением и властью (подобно тому, как отец злоупотребляет своей властью над детьми), с другой — это восставший народ, ассоциируемый с каннибализмом, «преступлением голодных».

«Два великих монстра, которые не смыкаю глаз над областью аномалии и которые до сих пор еще не уснули, — в чем убеждают нас этнология и психоанализ, —

¹ Этой идее о *целесообразности* истории безумия мы обязаны важной работе : Guillaume LE BLANC, *La pensée Foucault*, Ellipses, 2014 (см. особенно стр. 122-131).

² В русском переводе – «Ненормальные».

есть не кто иные, как два великих субъекта запретного потребления: король-кровосмеситель и народ-людоед»³.

Лекция от 5 февраля 1975 года начинается с того, что Фуко возвращается к этим двум фигурам монстров — кровосмесителю и антропофагу. Он замечает, что нет ничего удивительного в том, что в начальный период развития психиатрии и, в частности, психиатрии уголовной, который можно датировать началом XIX-го века, когда буржуазное мышление восторжествовало и получило власть, именно эти двум монструозным фигурам придается наибольшее значение. Однако он сразу же настаивает на том, что потенциал этих двух фигур и, говоря более широко, потенциал самого принципа монстра, обнаруживает в значительной степени свою исчерпанность:

«<...> в конце XIX века монструозный персонаж если еще и появляется (а он таки появляется), то предстает не более, чем преувеличением, экстремальным проявлением внутри общего поля аномалии, которая теперь и составляет повседневный хлеб психиатрии, с одной стороны, и криминальной психологии, уголовной психиатрии, с другой»⁴

Это ослабление и даже стирание фигуры монстра, не происходит, однако, без последствий. В высшей степени примечательно, что криминальная психиатрия следует этому общему движению, в ходе которого происходит последовательное исчезновение монструозных фигур кровосмесителя и антропофага, и что она начинает обращаться к полю а-нормальности, которое будет отныне занимать психиатрию и которое будет выражаться в том, что анализу и исследованию подвергнутся, как говорит нам Фуко, *«дурные привычки, мелкие пороки, ребяческие выходки»⁵.*

Очевидно, что в отношении всего этого мы не можем более говорить о чудовищности или о монструозности. С этого момента мы вступаем в поле а-нормального или а-нормальности. Происходит смещение, которое, настаивает Фуко, не является результатом «уточнения» техник психиатрии (вроде развития психотехник или невропатологии): этот переход от «монстра» к «анормальному» *предшествует* выработке этих техник, а не наоборот. «А-нормальный» выступает, таким образом, наследником «монстра», наследником-опустошителем, который полностью занимает место своего предшественника. Но в то же время, «а-нормальный» является новой фигурой власти (а точнее, - фигурой «власти-знания», как говорит Фуко), вносящей в тему исключения новые элементы.

В лекции от 5 февраля 1975-го года, кратко упомянув двух других *«великих монстров-основоположников криминальной психиатрии»*, которыми являются Папавуан и тот, что обозначен именем *«женщина из Селесты»⁶* (два случая

³ Фуко, Мишель, «Ненормальные. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1974-1975 году», Санкт-Петербург, «Наука», 2005, стр. 133 (Перевод исправлен нами – Д.Г.).

⁴ Там же, стр. 139-140. (Перевод исправлен нами – Д.Г.).

⁵ Там же, стр. 140.

⁶ В действительности, Саломея Гиз, была матерью, которая в 1817 году убила своего ребенка, оторвала ему правое бедро и сварила его с капустой. Она была признана «безумной во имя предохранения достоинства человечества» (см. в: Jacqueline VORBURGER, « *Justice et folie* », revue

детоубийства), Фуко разбирает дело Генриетты Корнье. С его точки зрения, в этом деле «кристаллизовалась проблема преступной монструозности»⁷, поскольку был задействован механизм, который, он считает, «очень важен не только для истории аномальных, не только для истории криминальной психиатрии, но и для истории психиатрии вообще, а в конечном счете и для истории гуманитарных наук в целом». Заметим, что эти три монстра все еще вписываются, согласно Фуко, в тему антропофагии, «фантазма пожирания», а также, «фантазма цареубийства»⁸.

Фуко выделяет отдельно случай Генриетты Корнье, поскольку он, по его мнению, касается совсем другой области, чем случай «женщины из Селесты» или дело Папавуана. В случае «женщины из Селесты», Саломеи Гиз, крестьянки, убитой нищетой, психиатрическое измерение дела — преступление матери, совершенное по отношению к своему ребенку, оказалось вытесненным иным элементом, который был внесен в это преступление, — преступлением антропофагии, то есть преступлением, совершенное от голода⁹, который свирепствовал то время в Эльзасе..

Подобным же образом юридическо-психиатрическое измерение дела Папавуана было нейтрализовано, согласно Фуко, тем, что убийца утверждал, что узнал в детях, которых он убил на одной из дорог Винсенского леса, двух детей королевской семьи. С этого момента Луи-Огюст Папавуан принимается за личность, подверженную бреду.

Случай же Генриетты Корнье – более сложен, поскольку ни «вменение разума» («*l'assignation de raison*»), ни «вменение безумия» («*l'assignation de folie*»)¹⁰ оказываются неспособны ухватить смысл этого дела.

Чтобы не создавать ложных пересказов, воспроизведем это дело так, как оно рассказано Фуко:

«Еще молодая женщина, имевшая детей, однако бросившая их, и сама тоже брошенная первым мужем, устраивается служанкой в несколько парижских семей. И однажды, уже после нескольких угроз покончить с собой и приступов уныния, Генриетта Корнье является к своей соседке и говорит, что может присмотреть за ее совсем маленькой, а именно восемнадцатимесячной [rectius: девятнадцатимесячной], дочерью.

Соседка колеблется, но в конце концов соглашается. Корнье отводит девочку в свою комнату, затем, вооружившись заранее подготовленным большим ножом, перерезает ей горло, четверть часа проводит перед телом ребенка: с одной стороны — туловище, с другой — голова; и когда мать возвращается за своей дочерью, говорит ей: “Ваш ребенок умер”. Мать, встревоженная, но не верящая, пытается войти в

Diagonales 94, juillet-août 2013).

⁷ Там же, стр. 141. (пер., исправленный нами)

⁸ Там же, стр. 141. (пер., исправленный нами)

⁹ Фуко уточняет, однако, в начале курса от 12 февраля 1975 года, что данный элемент в конечном счете не будет принят во внимание и что «женщина из Селесты» будет оправдана: «если я говорил вам, что ее осудили, то это ошибка: она была оправдана. Это решение изменило многое в ее судьбе (хотя и никак не изменило судьбу ее дочери), однако, по большому счету, не меняет того, что я хотел сказать вам об этом деле, в котором мне показалось важным то, с какой настойчивостью пытались отыскать систему интересов, которая позволила бы понять преступление и, при необходимости, считать его наказуемым». (Там же, стр. 170)

¹⁰ Там же, стр. 142 (пер., исправленный нами).

комнату; Генриетта Корнье же берет свой фартук, заворачивает в него голову девочки и выбрасывает в окно. После чего замирает, и несчастная мать спрашивает ее: «Почему?». Та отвечает: «Такова идея». И практически ничего большего от нее добиться не удалось»¹¹.

В деле Генриетты Корнье не присутствует такой элемент, как голод (задействованный в деле Саломеи Гиз), или такой, как бред (в случае Папавуана). И именно эта особенность позволит криминальной психиатрии «конституироваться как таковой»¹². Поскольку, каким бы особенным ни было это дело, оно должно быть рассмотрено с судебной точки зрения. И если, в этом деле, со стороны обвинения будут пытаться любой ценой придать «разум» преступнику (в обоих смыслах, который присутствует в слове «разум» («raison») во французском языке: «разум» как «мотив» и «разум» как «способность»), то защита должна, напротив, попытаться доказать отсутствие «разума» и интереса. Для Фуко именно тот факт, что юридическая власть и власть медицинская встретятся в ситуации, где никакой «разум» не может быть задействован в отношении представленных на суд преступлений, создает возможность «притока воздуха» в то юридическое неизвестное, что представляет собой «отсутствие интереса».

В своем анализе этого дела Фуко исходит из результатов, которые уже были достигнуты им в «Надзирать и наказывать»: что то, что он называет «новой экономией карательной власти», порывает с суверенным и избыточным механизмом пытки, который исходил из принципа необходимости аннулировать преступление и для этого прибегнуть к несоразмерно более превосходящей преступление силе (отныне, как говорит Фуко, «более не стоит вопрос о том, чтобы наказание сделало так, чтобы преступление не существовало, – поскольку оно существует»). Случай пытки Дамьена¹³ является в этом отношении эмблематичным, как это смог показать Фуко. Чтобы подавить волю к цареубийству, необходимо, чтобы власть показала себя несоразмерно более сильной. И поскольку покушение Дамьена на короля имело место, власть будет использовать пытку для того, чтобы показать избыток своей силы, которая, конечно, более значительна, чем удар ножом, нанесенный Дамьеном Людовику XV. Жестокость казни Дамьена, конечно, имеет смысл только в том случае, если она совершается на публичном месте, перед глазами многочисленной народной толпы. Именно отсюда она черпает свою показательную ценность и свой смысл. Впрочем, помимо пытки несоразмерная сила власти будет также состоять в том, чтобы стереть с лица земли дом цареубийцы и изгнать из королевства его ближайшее окружение (жену, дочь, отца), запретив при этом остальной части семьи носить имя Дамьена.

¹¹ Там же, стр. 142.

¹² Там же, стр. 143 (пер., исправленный нами).

¹³ Робер-Франсуа Дамьен (*Robert-François Damiens*) совершил неудачное покушение на короля Франции Людовика XV, нанеся тому удар перочинным ножом 5 января 1757 года. Его публичная казнь, состоявшаяся в Париже на Гревской площади, сопровождалась невероятными по жестокости пытками, которые длились 4 часа. Описанию и анализу казни Дамьена посвящены первые страницы книги Фуко «Надзирать и наказывать» («Surveiller et punir»).

В отличие от пытки, которая была нацелена на *преступление*, новый механизм наказания нацелен, скорее, на *преступника* в виде механики *интересов*, которые руководили преступлением («*Заинтересованность оказывается своего рода внутренней рациональностью преступления, тем самым, что делает его постижимым, но в то же время она служит обоснованием карательных мер в отношении него, позволяет сладить с преступлением, или даже со всеми подобными преступлениями, делает его наказуемым*»¹⁴.) Фуко говорит о том, что новой механике наказания требуется *прямая рациональность* преступления. И это именно для того, чтобы иметь возможность наказывать. Для того, чтобы было возможным прибегнуть к наказанию, недостаточно констатации того, что в момент преступления «невменяемость» («*démence*») не засвидетельствована. Наказывать возможно только в том случае, если отчетливо постулируется рациональность преступления. Таким образом, с одной стороны — эта требуемая рациональность преступления. А с другой — рациональность самого субъекта («преступника»). И третье требование: эти две вещи должны быть связаны. «*Основания (raisons) к совершению деяния (которые, как следствие, делают это деяние логичным) и разум (raison) субъекта, который делает его, субъекта, наказуемым, — две эти системы оснований в принципе должны совпадать*»¹⁵. И в этом-то и состоит абсолютное новшество этой новой механики наказания. Фуко уточняет:

*«Прежде, в старой системе, границы которой совпадают с границами монархии Бурбонов, на уровне разума субъекта (la raison du sujet) требовался, в сущности, гипотетический минимум. Было достаточно недоказанности невменяемости (démence). Теперь же требуется засвидетельствовать разумность, налицо прямое требование рациональности. К тому же необходимо учитывать совпадаемость оснований (raisons), которые делают преступление мыслимым, и разумности (rationalité) субъекта, который должен быть наказан»*¹⁶.

Исходя из этого можно вообразить, в каком затруднительном положении оказывается эта система наказания, когда она находится перед безосновательным деянием, или, что в данном случае одно и то же, не-разумным деянием, — тем, что можно было бы охватить одним французским выражением «*acte sans raison*». Дело в том, что на уровне Уголовного кодекса, то есть на уровне права, функционирование уголовной системы основывалось на статье 64-ой Уголовного кодекса 1810-го года, которая гласила: преступление отсутствует, если в момент совершения деяния субъект находился в состоянии невменяемости. «*То есть кодекс, устанавливая область применения карательного права, следует старой системе невменяемости. Он требует только одного: не должно быть доказательств невменяемости. Тогда закон применим*». Именно здесь проявляется несоответствие между «*кодификацией наказаний, законодательной системой, которая определяет применимость уголовного права*», с одной стороны, и того, что Фуко называет «*технологией наказания, или иначе,*

¹⁴ Там же, стр. 145.

¹⁵ Там же, стр. 146. (пер., исправленный нами)

¹⁶ Там же. (пер., исправленный нами)

исполнением власти наказывать». Это несоответствие состоит в том, что, говоря несколько упрощенно, технология наказания требует рациональности преступления, а Кодекс полностью игнорирует это требование. Откуда и происходит, замечает как бы на полях Фуко, нечто вроде «притяжения» уголовной механики к психиатрии, то есть к *«некоторой форме знания, некоторой форме анализа, которые позволят определить, квалифицировать рациональность деяния и провести границу между разумным и постижимым деянием и — безрассудным и непостижимым деянием»*¹⁷. Но этому притяжению присуща своя внутренняя логика: оно объясняется двусмысленностью, которая происходит, во-первых, из двойного требования механики наказания (требование рациональности преступления и рациональности преступника) и, во-вторых, из того факта, что это требование вступает в противоречие с Уголовным кодексом (преступление — не рационально, но преступник — не безумен).

*«Неминуемо складывается ситуация, в которой исполнение власти наказывать не может быть оправданным, поскольку деянию не присуща внутренняя интеллигибельность, которая открывала бы власти наказывать подступ к преступлению. Но и наоборот, поскольку нет оснований считать субъекта безумным, закон может и должен быть применен, ибо, согласно 64-й статье, закон должен применяться всегда, когда не подтверждена невменяемость. В подобном случае, и в частности в деле Генриетты Корнье, закон применим, однако власть наказывать не находит оснований для своего исполнения. С этим-то и связано замешательство; отсюда этот своего рода обвал, паралич, ступор уголовной механики. Пользуясь законом, который определяет применимость права наказывать и модальности исполнения власти наказывать, уголовная система оказывается пленницей взаимной блокировки двух этих механизмов. И в результате она неспособна судить; она вынуждена замереть и обратиться с вопросом к психиатрии.»*¹⁸

Однако механика наказания не может, что подчеркивает Фуко, возвести этот призыв к психиатрии в ранг закона, *«поскольку Уголовному кодексу известна только невменяемость, то есть дисквалификация субъекта на основании его безумия»*¹⁹. Именно поэтому, можно бы было добавить, есть все основания считать эту практику обращения к психиатрии «сублегальной». Перед безосновательным преступлением, или преступлением без разума, механика наказания оказывается в замешательстве. Неспособная судить, она вынуждена обратиться с призывом к психиатрии. Но что же происходит при этом на стороне самой психиатрии и на стороне медицинского знания вообще (*«на стороне медицинского аппарата»*, как выражается Фуко)?

Прежде всего стоит отметить, что происходит определенная «перекодировка» безумия, то есть процесс, в котором безумие приобретает новый смысл, который не существовал ранее. И этот процесс занимает, согласно Фуко, фактически весь XIX и часть XX века. Что же, в действительности, происходит? Фуко подчеркивает, что в

¹⁷ Там же, стр. 147.

¹⁸ Там же, стр. 148 (пер., исправленный нами).

¹⁹ Там же, стр. 148 (пер., исправленный нами)

течение долгого времени психиатрия не существовала в качестве специализированного медицинского знания:

«В начале XIX века, да и позднее, возможно почти до середины XIX века, психиатрия функционирует не как особая специализация медицинского знания или теории, но куда в большей степени как отрасль общественной гигиены. <...> Психиатрия институционализировалась как своего рода социальная профилактика, как гигиена всей совокупности общественного тела»²⁰

Чтобы стать наукой, знанием или, точнее говоря, отраслью научного знания, психиатрии нужно было *медикализовать* безумие.

«В самом деле, с одной стороны, надо было кодировать безумие как болезнь; нужно было патологизировать расстройства, заблуждения, иллюзии, присущие безумию; предпринять ряд исследований (по симптоматологии, нозографии, прогнозированию, наблюдению, клиническому досье и т. д.), которые сблизили бы как можно более тесно эту общественную гигиену, или социальную профилактику, которую психиатрия должна была обеспечивать, с медицинским знанием — и тем самым позволили этой защитной системе выступить от имени медицинского знания»²¹.

Это – та сторона «перекодировки» безумия (медикализация и патологизация), которая известна нам из других источников мысли Фуко. То, что важно в курсе «Аномальные», – это то, что Фуко подчеркивает другую сторону этой новой «перекодировки», связанную определенным образом с притяжением к психиатрии, которое испытывает механика наказания, принуждаемая к тому, чтобы быть способной вынести суждение о разуме преступного индивида. Эта другая сторона «перекодировки» состоит в том, что для психиатрии было очень важно обозначить *безумие* как *опасность* и, таким образом, определить саму психиатрию как научно обоснованный инструмент, позволяющий предвидеть и *предупредить опасности*, исходящие от безумия.

«Эта двойная кодировка прошла долгий исторический путь, растянувшийся на весь XIX век. Можно сказать, что сильные доли истории психиатрии в XIX, да даже и в XX, веке отмечаются именно тогда, когда две кодировки работают действительно слаженно или когда мы имеем один общий тип дискурса, один общий тип анализа, один общий понятийный корпус, который позволяет определить безумие как болезнь и воспринимать его как опасность»²².

Момент, который абсолютно необходимо принять во внимание, состоит в том, что с самого начала психиатрия испытывала потребность в случаях безумной

²⁰ Там же, стр. 149.

²¹ Там же. (пер., исправленный нами)

²² Там же, стр. 150. (пер., исправленный нами)

преступности для того, чтобы утвердить свою амбицию на то, что она может обеспечить общественную гигиену и предотвратить опасность. Она занимается преступным безумием не для того, чтобы выработать доказательства для себя как дисциплины, но для того, чтобы доказать свою состоятельность. Только тогда она становится легитимным знанием. Она им становится тем более, что для криминального правосудия безосновательное преступление, или преступление без разума, является немислимым и ставит это правосудие в такое положение, где оно не может, — без обращения к внешней компетенции — вынести суждение. Психиатрия возьмёт на себя обязанность предоставить нормы для этого суждения, но она также станет играть превентивную роль, поскольку именно она, устанавливая определения безумного преступника, должна предупредить его появление или воспрепятствовать реализации акта. «Безосновательное преступление», или «преступление без разума», требует такого знания, которое способна предоставить одна лишь психиатрия. Поэтому Фуко может сказать, что

«<...> в безосновательном преступлении, в этой опасности, которая внезапно поражает общество изнутри и не подчиняется никакой логике, психиатрия естественно находит для себя особый интерес: она просто не может остаться равнодушной к этим в буквальном смысле непостижимым преступлениям, к этим непредсказуемым преступлениям, к которым не применимы никакие предупредительные меры и в которых она, психиатрия, может выступить экспертом, когда они происходят, а в конечном счете и предвидеть или помочь предвидеть их, заблаговременно выявляя ту необычную болезнь, коей является их совершение. Это, в некотором роде, королевский подвиг психиатрии»²³.

«Безосновательное преступление», или «преступление без разума», является помимо всего прочего «абсолютным преступлением», поскольку немотивированное и беспричинное — оно, что еще более серьезно, может произойти в любой момент, до тех пор, пока мы не располагаем знанием, которое позволит уловить сигналы, способные охарактеризовать индивида непосредственно в состоянии перехода к акту. Предложить знание о «безосновательном преступлении», или «преступлении без разума», — это значит для психиатрии доказать свою необходимость и свою существеннейшую социальную роль. Но не следует заблуждаться на тот счет, что при этом психиатрия остается, однако, зависимой от правосудия, которое в конечном счете и задает ей этот вопрос: могу ли я наказывать или, поскольку обвиняемый является безумным, он не зависит от компетенции правосудия и не подлежит наказанию? Психиатрия обязана ответить на этот вопрос, и именно способность предоставить ответ будет легитимировать ее место при уголовной институции.

Вернемся к делу Генриетты Корнье. Здесь мы имеем типичный случай, который может только поставить правосудие в тупик, поскольку, как мы уже говорили, ни вменение разума (как преступление от голода в случае «женщины из Селесты»), ни вменение безумия (бред, вследствие которого Папавуан видит в двух невинных детях

²³ Там же, стр. 152-153.

на дороге Винсеннского леса детей королевской семьи), в данном случае кажутся не возможными. Так что психиатрическая экспертиза, запрошенная защитой для своей подзащитной, представляется сначала некоторым облегчением, поскольку она должна позволить разрешить этот случай и, возможно, как в начале предположили, вынести решение о безумии обвиняемой, поскольку вменение разума в ее преступлении не может быть осуществлено. Со стороны обвинения существовала также еще возможность, подчеркивает Фуко, отнести бесосновательное преступление Генриетты Корнье к свойствам личности самой обвиняемой, — к ее распущенной, презренной жизни : то есть к самому бытию Генриетты Корнье, со всей ее историей, всем ее пережитым и всем ее распутством, которое необходимым образом должно было привести к неразумному деянию.

Однако, две следующие друг за другом психиатрические экспертизы (среди двух экспертов присутствует знаменитый альенист Эскироль) устанавливают, что обвиняемая, по крайней мере на момент обследования, не представляет никаких свидетельств безумия. Но, помимо прочего, не говорит ли само обвинение — которое однако допустило эти психиатрические экспертизы, — что ясность сознания обвиняемой прочитывалось уже в ее преступном акте, который является плодом не неожиданного безумного припадка, а преднамеренности. Ведь это сама Генриетта Корнье говорит после совершения убийства ребенка: «Это заслуживает смертной казни».

« <...> система обвинения заключается в том, чтобы скрыть или, в некотором смысле, завуалировать эту смущающую бесосновательность (l'absence de raison), которая тем не менее заставила прокуратуру обратиться за помощью к психиатрам. В обвинительной речи, оглашая свое решение потребовать казни Генриетты Корнье, обвинение заслонило это отсутствие основания (absence de raison) присутствием — но чего? Присутствием разума (la présence de la raison), причем разума, понимаемого как здравомыслие субъекта, а значит, как вменяемость деяния субъекту. Именно это присутствие разума, которое дублирует, скрывает и маскирует отсутствие в преступлении мыслимого основания (l'absence de raison intelligible), и выступает, по моему, ключевым орудием обвинительного акта. Обвинение замаскировало лауну, которая мешала исполнению власти наказывать, и, как следствие, освободило путь закону. Был поставлен вопрос: действительно ли преступление было незаинтересованным? И обвинение ответило, но не на этот вопрос, хотя именно он был поставлен прокуратурой. Обвинение ответило, что преступление было совершено в здоровом уме»²⁴.

Обвинение добивается здесь таким образом того, чтобы найти вопреки всему, и что подтверждает результаты психиатрических экспертиз: обвиняемая не подвержена безумию и, следовательно, может быть наказана. Что, собственно, и является ролью правосудия и, как кажется, совершенно устраняет роль психиатра, которая сводится тогда лишь к тому, чтобы подтвердить то знание, которое уже подозревалось исходя из

²⁴ Там же, стр. 157-158 (пер., исправленный нами)

самого акта преступления. Для защиты, однако, утверждать, что обвиняемая кажется полностью владеющей своим разумом (*la raison*), и более того, что она владела им в момент преступления, не достаточно для того, чтобы превзойти ту сложную проблему, которая была задана изначально: само преступление не имеет основания (*la raison*), а судить необходимо прежде всего его. Кроме того, именно в отсутствии основания (*la raison*) заключается фундаментальное безумие Генриетты Корнье, а тот факт, что преступление было совершено в здравом уме, имеет мало значения.

Последует третья экспертиза, на этот раз проведенная психиатром, который был назначен защитой. Обращаясь к источнику преступления, эта экспертиза обращает внимание на резкие перепады настроения обвиняемой, а также на тот факт, что в момент совершения преступления у нее была менструация. Она отмечает также, что моральное сознание Генриетты Корнье осталось нетронутым, поскольку она осознавала, что ее действие заслуживает смертной казни, но что барьеры этого сознания будут однако преодолены в момент убийства несмотря на то, что они были устойчивы. Именно здесь мы подходим к средоточию размышлений Фуко. То, что защита Генриетты Корнье выдвигает на первый план, представляет собой «нечто»:

«<...> нечто, что представляет собой некую энергию, внутренне присущую его [преступления – Д.Г.] абсурдности, некую динамику, которую оно несет в себе и которая движет им. Следует признать наличие внутренне присущей ему силы. Другими словами, анализ защитников и анализ Марка [психиатр, проводивший третью экспертизы – Д.Г.] подразумевают, что, если обсуждаемый поступок действительно уклоняется от механики интересов, то уклоняется он от нее постольку, поскольку движим особой динамикой, способной опрокинуть всю эту механику».²⁵

Поскольку Генриетта Корнье сразу же после убийства признает, что ее поступок заслуживает смерти, — значит, именно ее инстинкт выживания, внутренне присущий всякому существу, был превзойден чем-то более сильным: тем, что третья экспертиза называет «непреодолимым аффектом», «присутствием необычайной движущей силы, чуждой регулярным законам человеческой организации», «влечением к убийству»²⁶, таким сильным, что оно вступает в противодействие с влечением к жизни, которое должно бы было помешать Генриетте Корнье совершить свое деяние в то время, как она прекрасно осознавала, к чему это ее приведет.

Однако, указывает Фуко,

«<...> имея дело с человеком, который решает убить другого, не являющегося даже его врагом, ясно сознавая, что тем самым он подвергает смертельной опасности самого себя, разве мы не сталкиваемся с некоей совершенно особой динамикой, которую беккарианская механика, идеологическая, кондильяковская механика интересов XVIII века постичь не в силах? Мы вступаем тем самым в совершенно новое поле»²⁷.

²⁵ Там же, стр. 160-161.

²⁶ Там же, стр. 162 (пер., исправленный нами)

²⁷ Там же, стр. 161.

И все это новое поле вращается вокруг такого сущностного понятия, которое получило необычайно сильное последующее звучание в истории психиатрии, – понятия «инстинкта», которое в деле Генриетты Корнье уже смогли обозначить, но еще не смогли помыслить. Защита Генриетты Корнье не слишком настаивает на этом термине, еще не до конца уловимом, и в конце концов сводит его к «бреду», — доказательству безумия Генриетты Корнье, позволяющем замкнуть круг и избежать наказания. Но дело, в каком-то смысле, уже сделано. Ведь за понятием «инстинкта», стоят такие значительные понятия, как «влечения» (см., например, «влечение к смерти» – «влечение к жизни» у Фрейда), «наклонности», «склонности», которые уверенным шагом войдут с этого момента в психиатрическое знание и дискурс:

«Основываясь именно на инстинкте, психиатрия в XIX веке сумеет сосредоточить в области душевной болезни и ее медицины всевозможные расстройства, отклонения, тяжелые расстройства и мелкие отклонения в поведении, не сопряженные с безумием как таковым. Именно благодаря понятию инстинкта вокруг прежней проблемы безумия завяжется проблематика а-нормальности, а-нормальности на уровне самых элементарных и обыкновенных поступков. Этот переход к мельчайшему, этот великий переворот, приведший к тому, что монстр, страшный монстр-людоед начала XIX века, стал тиражироваться в виде мелких монстров-первертов, число которых будет с конца XIX века неуклонно расти, этот переход от большого монстра к мелкому перверту просто не смог бы осуществиться без понятия инстинкта, без его употребления и функционирования в знании и в самой механике психиатрической власти»²⁸.

Литература

Фуко Мишель. «История безумия в классическую эпоху», М.: Магистерיום: Касталь, 1996.

Фуко Мишель. «Ненормальные. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1974-1975 году», Санкт-Петербург, «Наука», 2005.

Le Blanc Guillaume. «La pensée Foucault», Ellipses, 2014.

Vorburger Jacqueline, «Justice et folie», revue Diagonales 94, juillet-août 2013.

References

Foucault Michel. «Istoriya bezumiya v klassicheskuyu epokhu» [A history of insanity in the age of reason] Moscow, Magisterium: Kastal' Publ., 1996.

Michel Foucault. «Nenormal'nye. Kurs lektzii, pročitannyyi v Kollezh de Frans v 1974-1975 godu» [Abnormal. Lectures at the Collège de France 1974-1975] Sankt-Peterburg, Nauka Publ., 2005.

Le Blanc Guillaume. «La pensée Foucault», Ellipses, 2014.

Vorburger Jacqueline, «Justice et folie», revue Diagonales 94, juillet-août 2013.

²⁸ Там же, стр. 165 (пер., исправленный нами)

Beyond the repressive hypothesis: the power over sexuality in Michel Foucault's philosophy. Part 1: the birth of instinct

Goloborodko D., Institute of philosophy RAS

Abstract: In the same line of Michel Foucault's genealogical method, this article investigates the appearance and evolution of the question of sexuality inherent in contemporary society. The birth of the contemporary sexuality is examined through the lens of the historical and philosophical evolution of the approach to the notion of "madness": from its understanding as an "illness" to its perception as a "danger" and therefore from the alienist conception to the security conception. The general hypothesis of this article is that the history of sexuality begins precisely where the history of madness ends. In the first part of the article, based on the lectures given by Foucault at the Collège de France known by the title *Abnormal*, we analyzed the conceptual shift of the "human monster" (the extreme image of exclusion) and of the idea of monstrosity of deviance, towards the notion of "abnormal" (which takes the place of the "monster" in the transformation of power). This shift is examined through the example of the evolution of forensic evaluation and criminal psychiatry. From this perspective, the case of Henriette Cornier (the "crime without reason") and the pertaining birth of the concept of instinct are further examined.

Keywords: power, madness, alienation, sexuality, monster, abnormal, reason, psychiatry, forensic evaluation